

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 11

Н О Я Б Р Ъ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД

Все проходит.

(Из литературных воспоминаний.)

Н. Телешов.

Кружок «Среда».

1.

На мою память, около 80-х годов, Москва не отличалась обилием общественных организаций. Отдельные писательские кружки существовали почти только при редакциях, за немногими исключениями и были крайне малочисленны. Писателей в Москве тоже в то время жило сравнительно очень немного; все они устремлялись к центру — в Петербург, в «писательскую Мекку», как шутили иногда сами же писатели. Но как ни была придавлена общественность, жизнь делала свое дело. Дух не угасал. Как ни старались раз'единить людей, но люди все-таки встречались, стремились друг к другу, и общение не умирало. Это общение, этот пульс культурной жизни поддерживались несколькими очагами, и в их числе Малым Театром, в котором многие люди того времени и в частности лично я находили первые источники вдохновения, красоты, под'ема духа, смысла жизни и, просто-на-просто, культурного воспитания и сознательности.

Далеко не все современники имели счастливую возможность быть окруженными культурным обществом, слышать убедительные слова о высоких человеческих идеалах, видеть высокие примеры, загораться светлыми порывами, исходящими от окружающих. Нередко, а то и обычно, людей окружает проза жизни, та практическая сторона ее, которая приближается к заботам о завтрашнем дне, о будущем гнездышке, об узком эгонистическом благополучии; можно было прожить целую жизнь, и не услышать ни от кого вокруг ни одного слова об ином долге, об иных обязательствах, о самопожертвовании, о любви к истине и преданности высоким идеалам, о красоте и величии искусства. Недаром же говорилося в то время, что в Москве два рассадника истинного просвещения: Московский Университет и Малый Театр. И оба они, каждый по своей линии, давали тон — думаю, что не ошибусь, если скажу — для всей России.

В репертуаре Малого Театра мы привыкли встречать, помню русских классиков — Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Островского, еще и классиков иностранных: Шекспира, Шиллера, Гете, Гюго, Кальдерона, Мольера, Лопе-де-Вега... нас знакомили с выдающимися произведениями мировой литературы, и при этом в замечательном исполнении. Со сцены широким потоком лилась в зрительный зал вековая правда жизни, справедливость к униженным и угнетенным и красота всепрощающей любви. Чуткая молодежь, в душе которой горели те же огни, созревали те же отношения к явлениям жизни, ловила каждое слово, звучавшее в тон, — и между зрителями и актерами росло и крепло трогательное единение. Выходили из театра удовлетворенные, освеженные, с высоким под'емом. Немыслимо

было в то время притти в Малый Театр, видеть Ермолову и не заразиться общим настроением, общей любовью к ней. Ермолова никогда — я бы сказал — не играла роль; она в буквальном смысле слова — жила на сцене жизнью той женщины или девушки, имя которой она в этот вечер носила. Она не играла, она горела. Героический энтузиазм, пламенное вдохновение — ее стихия. Все эти определения, много раз повторенные в разное время, совершенно верны и точны, и их не изблежишь. Талант восторженный в высокой любви и гневный в борьбе за высокое. Страстная любовь к свободе и не менее страстная ненависть к тирании — вот внутреннее содержание игры Ермоловой — по счастливому определению современников.

Помимо Малого Театра большое общественное дело творили еще и художники-передвижники. Их выставки являлись не только праздником, но прямо-таки событием в жизни Москвы. Они тоже брали и мысль и душу человека, увлекали ввысь и возвращали их обновленными и просветленными. И здесь так же, как в Малом Театре, росло и крепло между зрителем и художником чуткое единение. Почти не бывало такой выставки, где бы зритель оставался холоден и спокоен; его всегда умели чем-нибудь взволновать и увлечь. И волновали изумлением и восторгом, а иногда и, буквально, потрясали сердца. Невозможно, конечно, перечислять то замечательное, что появлялось на этих выставках и что во многих случаях перешло потом в Третьяковскую галерею, которая сама в это время росла и приобретала европейское значение. Такие произведения, как «Грешница» Поленова, или Сурикова «Боярыня Морозова», или Репина «Иван Грозный», или полотна Васнецова, являлись выдающимися событиями на выставках и порождали вокруг себя целую литературу; все газеты долгое время были переполнены похвалами, спорами и доказательствами за или против.

Неотъемлемую и типичную принадлежность Москвы того времени составляла еще и газета, издававшаяся много лет — с 1853 года — и служившая как бы флагом значительной части московского общества. Это — «Русские Ведомости».

Все это вместе взятое — и Малый Театр, и передвижники, и «Русские Ведомости» — создавало атмосферу, в которой жила духовною жизнью, воспитывалась и закоренялась, ныне уже старая, московская молодежь 80—90-х годов.

Разъединить людей не удавалось. То Общество Любителей Российской Словесности с его почтенными профессорами, с маститыми писателями и молодыми, уже известными беллетристами привлекало людей на свои заседания в правленский зал Университета, то Общество Любителей Художества объединяло свою молодежь на субботних вечеринках на Дмитровке, где среди таких мастеров, как Поленов, Маковский, Суриков, братья Васнецовы, появлялись Левитан, Серов, Коровин, Головин и др., где, после специальных докладов и прений, просматривали новые художественные журналы чуть не всех русских и иностранных изданий, или играли в шахматы, а иногда слушали концерт, в виде товарищеской услуги, устраиваемый местными и приезжими артистами, нередко знаменитостями, — а в заключение садились за ужин, стоявший «полтниник», с разными закусками, крымским вином и одним горячим блюдом. Непринужденность, простота и безусловная свобода мнений делали эти ужины чрезвычайно веселыми и интересными. На один из таких вечеров С. И. Мамонтов привез высокого белокурого юношу, Шаляпина, на которого указывал как на будущую крупную величину. Имя его было мало кому известно, и вряд ли кто рассчитывал, что этот юноша через полчаса произведет на всех такое, исключительное по силе, впечатление, какое он произвел в тот вечер.

Эти заседания, чтения, беседы, группы и встречи то тут, то там — все это было одним явлением, все это была яркая, стремящаяся, талантливая Москва, которую удерживать по одиночкам вряд ли было кому-нибудь под силу. Наконец, в 1898 году открылся Художественный Театр под руководством К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, сразу завладевший общим вниманием. Об об-

щих интересах актеров, художников и литераторов заговорили еще больше и настойчивее. А через несколько месяцев был подписан Устав, и родился в скором времени Московский Литературно-Художественный Кружок, который имел в течение 20 лет большое значение в культурной и общественной жизни Москвы.

II.

С течением времени в Кружке собрана была большая и содержательная библиотека с массой автографов. Картины лучших русских художников и живописные портреты украшали многочисленные комнаты. В залах устраивались выставки и концерты, спектакли и дебаты по вопросам искусства. Почти все общественные организации Москвы, у которых не было своего помещения, имели в Кружке принят для заседаний, всегда без отказа и без всякой платы. Здесь же обычно справлялись торжественные юбилеи и давались банкеты заслуженным знаменитостям. Таковым почетным гостем Кружка был между прочим Эмиль Верхарн: в 1913 году, с эстрады, в мраморном зале, он читал свои стихотворения.

Незанятых вечеров в Кружке почти не бывало, но особенно наполнялись они по субботам. Иной раз в один и тот же вечер — в одной комнате происходил схватка реалистов с декадентами, в другой рассматривается проект закона о печати, поданный в Государственную Думу, или составляется записка об авторском праве; в концертном зале в это же время поют и декламируют, а затем танцуют «до петухов» с какой-нибудь благотворительной целью, а в столовых суетятся официанты в зеленых мундирах с золочеными пуговицами, подавая — кому кружку пива с белым хохлом пены, кому бутылку шампанского в никелированном ведерце со льдом, одному — стерлядь, или рыбчика, другому — бутерброд с колбасой, или стакан чая. Такие крайности во вкусах и аппетитах, а также в «шалюте» блюд за одним и тем же столом уживались отлично и безобидно.

Близ полуночи, когда в Кружок со всех концов Москвы стекались отыгравшие спектакль артисты и зрители из театров, редакторы и писатели, покончившие дневной труд, секретари газет, идущие через час на ночную работу, выпускать завтрашний номер, и разного рода таланты и их поклонники, в залах Кружка можно было встретить одновременно и черный сюртук и серый пиджак и домашнюю куртку с цветным воротничком рубашки, а рядом щегольской фрак с белоснежной сорочкой и батиновым галстуком, строгую женскую фигуру в темной кофточке, наглухо застегнутой, нередко в очках и с подстриженными волосами. И тут же, в столовой, приехавших с парадного концерта декольтированных дам, с собольими боа, с пышными прическами и розовыми ушами, в которых мелкими голубыми искрами вспыхивают грани серег, с счастливыми улыбками, еще неуспевшими остыть от пережитого только что успеха и грома аплодисментов.

В специальных комнатах идет своя жизнь: играют в карты, в шахматы, на бильярде; читальный зал всегда наполнен, так как на столах разложены всевозможные столичные газеты и журналы, много провинциальных изданий, а также последние книжные новости. Здесь полная тишина; ходят бесшумно по мягким коврам и не разговаривают... В Кружке был образован, памяти А. П. Чехова, особый комитет с целью выдавать ссуды и пособия нуждающимся артистам, писателям, художникам и музыкантам; через этот комитет и вообще на дела помощи Кружком было выдано за 15 лет, судя по отчету, 248 тысяч рублей.

Но все это было в расцвет его существования. А в 1899 году первое помещение Кружка было чрезвычайно скромное — на углу Воздвиженки и Кисловского переулка. Оно состояло из большой квадратной залы, из длинной и узкой столовой, переделанной из бывшей оранжереи, и еще из одной комнаты в подвале, где был устроен буфет и стояла огромная, до потолка, дубовая бочка с крупной латинской надписью: «In pivo veritas».

Во главе дирекции стали: А. И. Урусов, А. И. Сумбатов, В. А. Гольцев, Ф. О. Шехтель и другие представители литературы, театров, искусства, музыки и общественной жизни. Малый Театр пришел, кажется, нигде, со всеми своими знаменитостями; по крайней мере, привычно было встретить там по субботам М. Н. Ермолову, Г. Н. Федотову, Н. А. Никулину, не говоря уже о мужчинах Театра. Большой Театр был представлен лучшими своими артистами как оперы, так и балета. Газеты и журналы дали своих редакторов и виднейших сотрудников; актеры и представители частных театров, известные адвокаты, врачи, педагоги, выдающиеся художники, архитекторы, профессора Университета и Консерватории, общественные деятели — все они, по словам лермонтовского стихотворения, «все промелькнули перед нами, все побывали тут».

Такого обилия выдающихся имен и лиц вряд ли когда можно было встретить одновременно, и при том в такой товарищески-семейной обстановке, без чинового и претензий. Публика бросилась в Кружок, чтобы видеть всю эту «знатность» и побывать среди них запросто. Но дирекция была строга, посторонних не принимала, и только изредка, каким-нибудь, особым случаем, почти что чудом, забредал сюда на вечер гость, не иначе, как чей-нибудь близкий знакомый. Все чувствовали себя как дома, вполне непринужденно, и потому нередко составлялся то внезапный концерт, то хор из самых лучших солистов, то беседа, то просто товарищеский ужин, где все, сидящие за одним бесконечно длинным столом, объявлялись председателем между собою знакомыми, независимо от того, были они раньше знакомы, или не были. Было необыкновенно просто все и непринужденно. Во время ужина вставали, произносили речи, тосты, шутили, острили, спорили, смеялись. Здесь же за ужином велись и деловые разговоры и устраивались деловые встречи. Был здесь и карточный столик — один на весь Кружок; стоял он в подвале, возле пивной бочки, и за ним сживали преферансности или винтеры, нередко с громкими артистическими именами. Было повсюду необычайно просто, весело и приятно, особенно в первые месяцы. Все перезнакомились между собой, все чувствовали, что наконец устроился общий дом, где можно отдыхать, быть свободным и проводить время как захочется. Особенно интересно бывало по субботам, когда в Кружке собиралось много народа и сидели чуть не до утра.

Но как ни желателен был отдых в такой интересной компании, как ни приятны были общие встречи и развлечения, все-таки писательская группа, по своей малочисленности, была одинока. В собраниях Кружка еще не было той общественности, которую он приобрел с годами, и не было той интимности, какую так ждали и искали писатели для своих товарищеских встреч и бесед.

Небольшая группа моих личных литературных друзей продолжала, как и раньше, время от времени собираться у меня в квартире и делиться всякими новостями и впечатлениями.

Сначала это была небольшая группа, в несколько человек. Из самых давних моих друзей, работающих и сейчас в литературе, были: С. Д. Разумовский, писавший в то время книгу о Гамлете и готовившийся к драматургии, и И. А. Белоусов, переводивший Шевченко и печатавший по небольшим журналам свои простые, ласковые стихи о труде и природе. Затем примкнули к нам В. М. Михеев, братья Бунины и С. С. Голоушев, известный в качестве художника — как С. Сергеевич, и в качестве литератора — как Сергей Глаголь, большой любитель и знаток искусства и увлекательный оратор. Он умер сравнительно недавно, в июле 1920 г. в возрасте, позволяющем назвать его стариком: ему было 65 лет; но все, кто знал его, все его многочисленные товарищи по искусству, по общественности, по медицине (он был врач, по специальности гинеколог), и еще более многочисленные ученики и ученицы по искусству и по театру, могут подтвердить, что в этом 65-летнем муже горела молодая душа, и не только молодая, но юная. Зрелый и хороший ум его охватывал и анализировал явления, а горячее сердце, склонное к увлечениям, дополняло это понимание любовью к явлениям, самой искренней,

молодой и настоящей, оттого и все его работы, многочисленные театральные статьи, художественные оценки, монографии художников, его студийные лекции по искусству — все это полно увлечения, заражающего читателя и еще более слушателя; особенно увлекателен он был как оратор, и менее всего заметен, пожалуй, как беллетрист.

Обычно, Голоушев сообщал нам много интересного про художников, про их новинки, про новые течения, а Михеев рассказывал нередко о новых пьесах Ибсена, начавшего в то время сильно интересоваться и волновать общество, и о других иностранных писателях, чьи произведения еще не были переведены по-русски, и мы знакомились с ними ранее многих других по пересказам и отрывкам. Юлий Бунин осведомлял нас о революционном движении в прошлом и настоящем, рассказывал о крупных деятелях революции, с которыми он был лично знаком, и вообще держал нас в курсе. Эта небольшая товарищеская группа и явилась основой того кружка, которому суждено было впоследствии сыграть заметную роль под названием Московской Литературной Среды и объединить большинство самых видных и крупных писателей девяностых и девятисотых годов.

Почти каждый раз кто-нибудь из писателей читал у нас свое новое произведение, о котором присутствующие давали тут же свои откровенные отзывы. Посторонних никого не бывало, и высказываться вполне искренно и без стеснений никто не мешал. А это было очень нужно тогда, потому что большинство из нас были еще молодыми людьми и только что начинали лыходить на дорогу. Мы несколько не разочаровывались в Кружке; напротив, — любили бывать там по субботам, желали ему всякого блага и, чем могли, содействовали ему. Но того, что было нам необходимо, он дать нам в то время еще не мог. Он дал нам очень много хорошего, но несколько позднее.

III.

Мало-по-малу наш товарищеский кружок начал расширяться. Пришли к нам писатели: Сергей Терентьевич Семенов, автор крестьянских рассказов, выгодно отмеченных Л. Н. Толстым, который называл их «значительными, так как они касаются самого значительного сословия России — крестьянства, которое Семенов знает, как может знать его только крестьянин, живущий сам деревенскою тягловою жизнью». Пришел А. М. Федоров, поэт и романист, живший в Одессе, но часто бывавший в Москве; затем появились Евг. П. Гославский, Н. П. Аишев, Н. И. Тимковский. В это время издавалась в Москве газета «Курьер», под редакцией Фейгина и Новика, людей свежих и энергичных, которые пытались объединить всю нашу молодую группу; в этой газете начал работать в качестве судебного репортера Л. Н. Андреев, но его никто из нас еще не знал. Да он в то время и сам еще не знал, что он беллетрист.

Стали бывать у нас и художники: А. Я. Головин, К. К. Первухин, В. И. Родинский, написавший впоследствии с Андреева портрет, самый удачный по сходству из всех, мною виденных, тот самый, с которого издавая Кнебелем репродукции и выпущены открытки; этот портрет связан со «Средою» и находится теперь в Чеховском музее. Бывали также Ап. М. Васнецов, Эмилия Шанкс, В. Я. Тишин, И. И. Левитан. Впрочем, Левитан бывал только в начале кружка: он вскоре заболел и умер. Через год кружок уже значительно разросся, и мы стали собираться еженедельно, сначала по вторникам, потом по средам, не избегая суббот Художественного Кружка, имевших для нас иной интерес и иную привлекательность.

Однажды зимою мне довелось быть в Нижнем-Новгороде. Проходя по улице, я встретился с высоким молодым человеком с длинными почти до плеч волосами. Он нес в руке несколько книг. Несмотря на мимолетность встречи, его лицо мне запомнилось. И лицо, и несколько сутулая фигура, и ясный взгляд.

На следующий день я прочитал в местной газете письмо в редакцию, за подписью: Максим Горький. Он обращался к жителям города с просьбой помочь устроить для детей бедняков каток на рске и просил присылать к нему на квартиру по указанному адресу коньки, ремешки, деньги. Пользуясь адресом, я и поехал к нему. Ко мне в прихожую, когда я позвонил, вышел отпереть дверь тот самый молодой человек, которого я встретил на улице. Познакомились просто, без всяких предисловий. Он взял меня за руку и сам повел в комнату, назвал жену, Екатерину Павловну, познакомил с нею, потом куда-то вышел и сейчас же вернулся с ребенком на руках, завернутым в теплос одяло.

— А это вот Максимка — сын мой.

Стал расспрашивать о Москве, о писателях московских, большинство из которых он знал. Спросил про Ивана Бунина: говорят, он большой юморист, правда?.. Очень интересовался нашим кружком и обещал быть непременно у нас, чтобы со всеми познакомиться.

— Как только попаду в Москву, обязательно буду у нас на Среде.

Говорили много о Художественном Тсатре, о газете «Курьер», об эксплуатации издателями писателей и, когда я ушел, мне казалось, будто я знаком с ним по крайней мере лет десять. На самом же деле я только тут узнал, что его зовут Алексеем Максимовичем и что фамилия его — Пешков.

Горький наезжал нередко в Москву, и всегда бывал на наших средах. По его словам, ему нравились эти товарищеские собрания, где в интимном кругу молодых писателей сами авторы читают свои новинки, еще появившиеся в печати, самые свежие, прямо из-под пера, а товарищи высказывают о прочитанном свои откровенные мнения.

«Хочется мне, — писал он мне однажды из Арзамаса, куда был выслан из Нижнего, — чтоб вы поближе привлекли к себе Андреева: славный он, по-моему, и талантливый»...

Вскоре носч этого Горький приехал в Москву и в первую же среду привез к нам Андреева. Это был молодой человек, типа студента, с красивым лицом, с небольшой бородкой и черными длинными полосами, очень тихий и молчаливый, одетый в пиджак табачного цвета. В десять часов, когда обычно начиналось у нас чтение, Горький предложил послушать небольшой рассказ молодого автора.

— Я вчера его слушал, — сказал Горький, — и, признаюсь, на глазах у меня были слезы.

Но Андреев смутился, заскромничал и стал говорить, что у него болит горло, что читать он не может.

— Тогда давайте, я прочитаю, — вызвался Горький. Рассказ называется: «Молчанье».

Он вынул из кармана тоненькую тетрадку и сел к лампе.

Чтение длилось около получаса. Андреев сидел рядом с Горьким все время не шевельнувшись, положив ногу на ногу и не сводя глаз с одной точки, которую он выбрал где-то вдалеке, в полутемном углу. Конечно, он чувствовал, что на него все смотрят. Но вряд ли он чувствовал в то время, что каждая страница сближает с ним этих, хотя и знакомых, но все же чужих ему людей, среди которых он сидит точно новичек в школе. Всем было ясно, что в лице этого новичка Среда приобретает хорошего талантливого товарища.

Не знаю, почему так случилось, но среди молодых писателей появилась вдруг тяга к Москве. Перебрались в Москву Е. Н. Чириков и Серафимович; поселились Скиталец, потом В. В. Вересаев; наезжал очень часто А. И. Куприн, жил драматург С. А. Найденов, Леонид Андреев; всегда стал зимовать И. А. Бунин. Все они были членами Среды и ее постоянными посетителями.

Андреев с первого же вечера сделался в Среде своим человеком, и с той поры, в течение целого ряда лет, не пропустил, кажется, ни одного собрания, за исключением тех двух сроков, когда он лежал в клинике и когда сидел в Та-

ганской тюрьме. Все сразу почувствовали в нем сильный и яркий талант, а находившийся тогда среди нас В. С. Миролюбов, издатель популярного в то время «Журнала для всех», сейчас же взял у Андреева этот рассказ для напечатания. Этот вечер первого появления на Среде был для Андреева большим и хорошим шагом вперед, о чем он всегда говорил впоследствии. Успех его возрастал необыкновенно быстро. За «Молчанием» последовали рассказы «Жили-были», «Стена» и знаменитая «Бездна», затем «Василий Фивейский» — и имя Леонида Андреева заблестало в литературе. А года через два Андреев уже сам привез к нам на Среду молоденького студента в серой тужурке с золочеными пуговицами, тоже — как и он сам в свое время — сотрудника «Курьера», где появился пока только один рассказ молодого беллетриста — «Волки». Юноша всем понравился и сделался членом Среды. Вскоре из него выработался писатель — Борис Зайцев.

Но не одна только молодежь была у нас членами. Были и старшие писатели, как например — П. Д. Боборыкин, Н. Н. Златовратский, В. А. Гольцев, Д. Н. Мамин-Сибиряк, С. Я. Елпатьевский, Л. А. Хитрово, А. Е. Грузинский, А. П. Чехов и В. Г. Короленко. Через Среды проходили обычно если не все новинки, то большинство из них. Первое чтение пьесы «На дне», перед постановкой ее в Художественном Театре, происходило у нас. Читал сам Горький; помимо своих, было приглашено много артистов и литераторов. Успех был исключительный. Прочитал Горький очень хорошо, особенно роль странника Луки. Было ясно, что в театральном мире пьеса будет событием. Так и случилось; особенно когда Лукою вышел на сцену Москвин, бароном — Качалов. На первом представлении автор был вызван более 20 раз.

Произведения Леонида Андреева, думаю, что все без исключения, читались автором на Средах и по-товарищески обсуждались. У нас было правило: говорить без стеснений. Это не значило, конечно, во что бы то ни стало огорчать автора. Но если он бывал достоин порицания, то уж выслушивал всю горькую правду, без снисхождения; разумеется, в тонах дружеских и необидных, хотя решительных. Так случилось с рассказом Андреева под названием «Буяника», который до сих пор, кажется, нигде не напечатан. Так случилось с рассказом Куприна «Мебель». Но эти нападки не только не портили наших добрых отношений, а наоборот — сближали нас в действительно дружеский круг.

На Средах были читаны самими авторами: почти все пьесы Найденова, все рассказы Бунина и многие из его стихотворений, многие вещи Скитальца, Серафимовича, Голоушева, а Леонид Андреев, даже когда был за границей, присылал оттуда свои вещи по почте и требовал мнения Среды.

— Без этого, — писал он в письмах, — никакую свою вещь не могу считать законченной.

Скиталец не только читал, но приносил неоднократно свои знаменитые гусли и пел народные песни. Это ему очень удавалось. Он засучивал по-локоть рукава блузы — иного костюма не носил — откидывал со лба пряди волос и, проговоря негромко: «Эй, вы, гусли-мысли!», начинал петь. Голос у него был не из больших, но приятный, грудной и выразительный, и очень подходящий именно к народным песням, которые он хорошо знал и чувствовал. И несудивительно, потому что сам он сын крестьянина, и в детстве с отцом-гусяром бродял и играл по волжским ярмаркам. Это отражено в одном из его стихотворений:

Дал в наследство мне мой батюшка-гусяр:
Гусли-мысли, да веселых песен дар.
Гусяром быть доли выпала и мне —
Сеять песни по родимой стороне...

Между прочим, он пел нам из горьковского «Дня» песню «Солнце всходит и заходит» — ранее, чем мы услышали это в Художественном Театре. Пел он также впервые песню о Стеньке Разине и о персидской княжне, которую поют

теперь всюду, во всех углах и закоулках России. Это Скиталец ее так популяризировал на своих гуслях; с его легкой руки она и полетела — по крайней мере, по Москве.

Вспоминается еще одна русская песня, которую довелось мне слышать при совершенно особых условиях: ранней весной, в Черном море, на простой рыбацкой лодке. Шаляпин запевал «Вниз по матушке по Волге», а Скиталец и Горький изображали хор; единственным слушателем был я, сидевший на веслах. На десятки верст вокруг не было ни одного человека. И в то время как шаляпинский голос разносился по морскому простору и пел о «взбуждавшейся погоде», Скиталец на низких нотах, одновременно с запевалой, точно вперебой ему, призывал кого-то: — «Гряднем, гряднем мы, ребята!..», а затем присоединялся к общей песне, подхватывая мотив. Тут было все, что, по положению, требуется от настоящего русского пения: запевала «затягивает», голоса «пристают», подголоски «подхватывают», один «заливается», другой «выносит»... Словом, все эти надлежащие глаголы были пущены в дело...

IV.

На Средях не всегда, или вернее — не все время в течение вечера, беседы были деловые и серьезные. Процветали у нас и шутки, и смех. Были в моде одно время всякие прозвища и куплеты. Помню, про андреевский рассказ «Бездна» кто-то пустил двустипшие, и Андреев им очень утешался. Это случилось после того, как на него напали за Бездну «Новое Время» и Софья Андреевна Толстая, громившие молодого писателя. Сам же Леонид Николаевич, улыбаясь, любил повторять среди приятелей пущенный каламбур:

Будьте любезны:
Не читайте «Бездны».

Про Скитальца тоже был сложен стишок. Я не помню его целиком. В памяти удержалось только:

Юноша звал себя в мире Скитальцем,
И по трактирам скитался действительно...

Больше всех смеялся над этим сам же Скиталец, которого читатели представляли себе необычайно мрачным и страшным, так как сам о себе он писал в стихотворениях: «Я и меч и вместе — пламя», или «Коли пить — пей ковшом; бить — так бей кистенем», — или: «Я ненавижу вас всех, вы — жабы в гнилом болоте!».

Очень метко дали ему сравнение: с тигром... из мехового магазина.

«Он пугает, — а мне не страшно» — как говорил Л. Н. Толстой о творчестве Л. Андреева.

Прозвища давались только своим постоянным товарищам, и выбирать эти прозвища дозволялось только из действительных названий московских улиц, площадей и переулков. Это называлось у нас «давать адреса». Например, Златовратскому дан был сначала адрес: «Старые Триумфальные ворота», но потом переменяли на «Патриаршие пруды». Гольцеву, редактору «Русской Мысли», дали адрес: «Девичье поле», но после изменили на «Бабий городок». Тимковский назывался «Зацепая», Голоушев — «Брехов переулок», Гославский — «Большая Молчановка» — за обычное безмолвие на диспутах, а другому товарищу, наоборот, за пристрастие к речам — «Самотека». Скиталец получил адрес — «Хамовники», Шаляпин — «Разгуляй». Были у нас и «Средняя Пресня», и «Ленивка», и «Живодерка». Юлий Бунин был «Старо-Газетный переулок», Белоусов — «Пречистенка», а Леониду Андрееву дали адрес «Большой Ново-Проектированный яереулок». Но это его не удовлетворило, и он просил дать ему возможность переменить адрес, или, как у нас называлось, «переехать» в другое место — например, хоть на «Ваганьково кладбище».

— Мало я вам за эти годы про покойников писал? — говорит он, бывало. У меня что ни рассказ, то два-три покойника. Дайте мне адрес «Ваганьково». Я, кажется, заслужил.

Не сразу, но просьбу его все-таки уважили, и он успокоился.

Над этими адресами хохотал и потешался Чехов, когда однажды в его ялтинском кабинете ему рассказывали о них.

— А меня как прозвали? — с интересом спрашивал Антон Павлович, готовясь смеяться над собственным «адресом».

— Вас не тронули. Вы без адреса.

— Ну, это жалко, — разочарованно говорил он. — Это очень досадно. Приедете в Москву, непременно прозовите меня. И напишите; доставите удовольствие.

Когда он узнал, что В. С. Миролюбову за его громадный рост дали адрес «Каланчевская площадь», то с улыбкой заметил:

— Это вот слабо. Глеб Успенский его великолепно окрестил; совершенно непероятным именем, но метко: — «Пирамидальный буйвол». Вот это — сказано!

Так, мешая дело с шутками и пустяки с работой, мы много лет дружно и хорошо жили. Время от времени возникали какие-нибудь инциденты. То кого-нибудь арестовывали, то высылали, как, например, из Ялты губернатор Думбадзе начал одно время изгонять административно всех приезжих писателей; то устроили большой литературно-музыкальный вечер, который начался на эстраде в Благородном Собрании и закончился в Окружном Суде на скамье подсудимых; то просто происходили персональные недоразумения и столкновения, о которых потом писали в газетах, рисовали на них карикатуры. Ничтожный сам по себе инцидент иногда раздували до события, как, например, разговор Горького с публикой на спектакле в Художественном Театре, где шла в тот вечер Чеховская «Чайка», а вовсе не «Дядя Ваня», как утверждали в газетах «свидетели и очевидцы» неприличного поведения Горького. Это неприличие заключалось вот в чем: каждый антракт к гостинной, при директорской ложе, подходила довольно значительная часть публики, заполняла весь коридор и вызывала все громче и громче Горького, который сидел в гостинной с несколькими друзьями, но дверей не открывал и никак не реагировал на эти вызовы. В третьем антракте вызовы перешли в громкий и продолжительный рев: «Горь-ко-вааа!». Двери начали приоткрываться из коридора все сильнее и чаще и, наконец, совсем распахнулись. Загремели аплодисменты, заикались поклонники, но Горький не только не раскланялся в ответ на приветствия, но быстро и решительно вышел в коридор, в толпу поклонников и резко спросил:

Что вам от меня нужно? Что я вам — Венера Медицейская? Или балерина? Или утопленник?.. Для чего вы пришли смотреть на меня? Нехорошо, господа, вы станите меня в неловкое положение перед Антоном Павловичем. Ведь и на его пьесах, а не моя. И при том такая прекрасная пьеса. И сам Антон Павлович находится в театре.

Газеты подхватили этот эпизод, раздули его как схватку писателя с публикой, и года два в разных изданиях изображали Горького в карикатурах, в виде Венеры, или утопленника, а чаще всего балериной, или человеком, сидящим за столом и положившим ноги на стол.

Однажды Андрею было поручено устроить с благотворительной целью литературный вечер; он взялся и пригласил участвовать товарищей из той же Среды. Сам он решил прочитать новый рассказ «Иностранец», Найденон отрывок из пьесы «Жильцы», Бунин — «На краях света», на мою долю досталась легенда «О трех юношах» и на долю Скитальца — стихи. Интерес к группе писателей из Среды в то время только еще разрастался, и билеты брались бойко. Громадный зал Благородного Собрания был переполнен. Авторам, впервые появлявшимся перед публикой на эстраде, шумно и долго приветствовали; успех вечера ярко определился. По установившемуся обычаю, на больших вечерах все исполнители одевались парадно: женщины в балльных платьях, чтецы и музыканты — во фраках. Один только Скитальца

и, пришедший лишь к самому концу вечера, явился в неизменной блузе и резко вместо обыкновенного галстука размахнул по всей груди какой-то широкий белый бант. Ввиду опоздания, ему достался самый последний, заключительный номер.

И вот, и раскаленную уже успехом вечера атмосферу, после фразок, скрипок, речесок и дамских декольте, вдруг влетает на эстраду косматый, свирепого вида мушкетер, делает движения, как бы собираясь засучивать рукава, быстрыми шагами подходит к самому краю помоста и, скинув голову, громким голосом, на все собрание, выбрасывает слова, точно камни:

...Пусть лежит у вас на сердце тень!

Песнь моя не понравится вам:

Зазвенит она, словно кистень

По пустым головам!..

Я к вам явился возвестить:

Жизнь казни вашей ждет!

Жизнь хочет вам нещадно мстить:

Она за мной идет!..

Когда он кончил стихотворение и замолк, то поднялся в зале не только стук, рокот и гром, но буквально заревела буря. По словам газеты «Курьер», сохранившейся у меня в вырезке, «буря эта превратилась в настоящий ураган, когда Скиталец на бис прочел стихотворение: «Нет, я не с вами». Стены Благородного собрания вероятно в первый раз слышали такие песни и никогда не видели исполнения в столь простом костюме...».

Так сообщала газета. Так это все и было на самом деле. Но в тогдашних газетах все-таки нельзя было написать обо всем, что случилось.

Я ненавижу глубоко, страстно

Всех вас: вы — жабы в гнилом болоте!..

Так выкрикивал Скиталец в публику громким голосом, потрясая над головой палкой и встряхивая волосами:

«Мой бог — не ваш бог: ваш бог прощает... А мой бог — мститель! Мой бог карает! Мой бог предаст вас громам и карам. Господь мой грянет грозой над вами, и — оживит вас своим ударом!».

Полицейский пристав, сидевший на дежурстве в первом ряду кресел, не дожидаясь конца, поднялся и резко заявил, что прекращает концерт. Публика с криком бросилась с мест, придвинулась вплотную к эстраде, а молодежь полезла даже на самый помост. Крики, визг, стук и топот, восторги и возмущение — все это случилось, ничего нельзя было разобрать. Полиция распорядилась гасить огни. Потемневший зал сразу потускнел. Одна за одной гасли огромные люстры, но народ не утих, стучал и не расходился. Становилось темно. Наконец, полиция явилась к залу артистов, где был сервирован для них чай:

— Немедленно покиньте помещение!

Когда удалили исполнителей, публика поневоле затихла и в полутьме побрела своим шубам. Но на улице, у подезда, опять поднялись крики.

Кончилось все это тем, что Скиталец уехал на Волгу, общество помощи учащимся женщинам заработало с вечера хорошую сумму, а Леонид Андреев, как официальный устроитель вечера, подписавший афишу, внезапно был привлечен к ответственности в уголовном порядке за то, что не воспрепятствовал Скитальцу прочитать стихотворение, где пророчилась революция и гнев народный. Нас всех вывели к следователю для допроса, а затем свидетелями в Окружный суд, где Леонид Николаевич сидел на скамье подсудимых и чуть-чуть не пострадал недолго за что.

— Писал Скиталец, читал Скиталец и прославился Скиталец, — а меня хот посадить, либо выслать, — смеялся Андреев уже в зале суда перед началом пр цесса.

Однако суд его оправдал.

V.

Вспоминается еще один инцидент — с Горьким. Его ждали в Моск проездом из Нижнего-Новгорода в Ялту. И вот мы узнаем однажды, что сего Горького приехала сюда, а сам Алексей Максимович арестован на товарной ст ции, под самой Москвой: вагон, где находился Горький, отцепили от нижегоро ского поезда, поставили на курские рельсы и под надзором жандарма отправи в Подольск. Так это было или не так, почему могло случиться и надолго ли никто ничего не знал. Нужно было увидаться; если можно — выручить; во всяко случае, выяснить дело. Немедленно собрались: Андреев, Бунин и я, и с первым поездом поехали в Подольск. На вокзале к нам присоединились К. П. Пятинки заведывавший издательством «Знание», и переводчик Горького на немецкий язык Шольц, специально приехавший из Берлина, познакомиться лично с Алексее Максимовичем и своими глазами увидеть, как живут в России знаменитые пис тели. И увидал.

Сюда же, на свидание с Горьким, приехали Ф. И. Шаляпин. Здесь, на пла форме Подольска, мы все и познакомились с ним. Через минуту начальник станци с дежурным жандармом пропустил нас в дамскую комнату, где, точно зверь в клетк метался из угла в угол, заложив руки за спину, Алексей Максимович. Увид первых двоих, он остановился вдруг и протянул вперед руки. За перам показались двое вторых, потом третьи. Удивление и радость были в о глазах.

— Что семья? — было первым его вопросом. — Где они все?

До обратного нашего поезда было времени часа три. Сидеть в дамской ко нате было не очень удобно, и мы решили поехать со станции в город. Пришло однако, спрашивать об этом жандарма.

Нырря в саях по ухабам среди зимних сумерек, мы добрались до какого- «первоклассного» ресторана, где нам отвели отдельный кабинет, в котором е еще уместили свои шубы, навалив их одну на другую, а сесть было уже некуда. Тогда нам отвели второй кабинет, рядом с шубами; здесь мы и устроились, так, что дверь в коридор пришлось оставить открытой, иначе все семеро не вмещались. Пока подавали чай, пока накрывали ужин, по городу уже прои слух, что приехал Горький с писателями и с Шаляпиним, и к вокзалу потянулись любопытные — ожидать, что из всего этого может впоследствии. А у нас в перо классном ресторане происходило следующее. Только что мы устроились и да незахотевшуюся дверь занавесили скатертью, как до слуха нашего донесло приближающееся звяканье шпор: мимо нашего кабинета прошло несколько в ног. Немец забеспокоился: что это значит? Затем, через минуту, не выдержав, вышел в коридор, откуда вернулся взволнованный и побледневший:

— Они роются в наших шубах, — в ужасе сообщил он.

Но ему ответили, что это у нас дело обыкновенное и что волноват не стоит: чему быть, того не миновать — как говорит пословица. А еще чер несколько времени, робко приподняв нашу занавеску, появился смущенный М язин, кланяясь и извиняясь, с домовою книгой в руках. Он положил книгу из ст и просил всех нас расписаться: кто мы такие, откуда и как нас зовут, уверяя, ч у них такой закон, чтобы все приезжие писали о себе все сведения и адрес, и в правду.

— Приезжий здесь — один я, — вдруг заявил Шаляпин серьезно и твердо. А это — мои гости. Такого закона нет, чтобы гостей переписывать. Давайте кни я один распишусь в чем следует.

Не без трепета следил хозяин за словами, которые начал вписывать в книгу Шаяпин. Увидав, наконец, что мучитель его — артист «Императорских» театров, облегченно вздохнул и успокоился.

Когда мы вернулись на вокзал, там был, пероятно, весь город. Но нас встретили жандармы и хотя очень вежливо, но все-таки в определенном окружении ровели снова в дамскую комнату, где мы и просидели безвыходно до скорого поезда из Москвы в Севастополь, с которым ехала семья Горького и с которым ехал он и сам без дальнейших инцидентов. Таким образом весь смысл и вся глупость подольской задержки сводилась только к тому, чтобы не впустить важного писателя в столичный город Москву.

Когда мы возвращались с пригородным поездом, немец всю дорогу не мог успокоиться и все изумлялся. А впоследствии прислал нам номер берлинской газеты, где подробно и не стесняясь описывал нашу поездку в Подольск и свою попытку увидеть воочию, как живут на Руси братья-писатели.

После этого, на Среды время от времени стал приезжать Шаяпин. Иногда принимал участие в общей беседе, а иногда садился за рояль и, сам себе аккомпанируя, начинал петь. Пел он романсы, русские народные песни, пел арии, пел куплеты, шутки, французские шансонетки. Пел он и Марсельезу, пел Дубинушку, пел Блоху. Марсельезу он исполнял так, что дух захватывало от восторженного под'ема.

Однажды, я помню, был вечер, когда Шаяпин прямо, как только приехал, привел нам:

— Братцы, петь хочу!

Он вызвал по телефону С. В. Рахманинова и ему тоже сказал:

— Петь до смерти хочется. Возьми лихача и скачи скорей на Среду. Будем всю ночь петь.

Рахманинов вскоре приехал. Шаяпин не дал ему даже чаю выпить. Усадил за рояль — и началось нечто удивительное. Это было в самый разгар шаяпинской славы и силы. Он был в необычайном ударе и пел, действительно, без конца. Никаких чтений в тот вечер не было, и не могло быть. На него нашло вдохновение. Иногда и нигде не был он так обаятелен и прекрасен, как в тот вечер. Даже несколько раз гонорил нам:

— Здесь меня послушайте, а не в Большом Театре.

Шаяпин поджигал Рахманинова, а Рахманинов задорил Шаяпина. И эти два великана, увлекая один другого, буквально творили чудеса. Это было уже не пение и не музыка — в общепринятом значении, это был какой-то припадок вдохновения двух крупнейших артистов нашего времени.

Как сейчас вижу эту большую комнату, освещенную только одной лампой за столом, за которым сидят наши товарищи и глядят все в одну сторону — туда, где за пианино видна черная спина Рахманинова и его гладко стриженный затылок. Локти его быстро двигаются, тонкие длинные пальцы ударяют по клавишам. А у стены — лицом к нам — высокая стройная фигура Шаяпина. Он в длинных сапогах и в легкой черной поддевке, великолепно сшитой из тонкого сукна. Одной рукой слегка облокотился на пианино. Лицо вдохновенное, строгое. Никакого следа только что сказанной шутки. Ждет момента вступления. Преобразился в того, чью душу сейчас раскроет перед нами, и заставит всех чувствовать то, что сам чувствует, и понимать так, как сам понимает.

Такого шаяпинского концерта, как был этот, экспромтный, уже никогда более не услышать.

К сожалению, прерывы слова и полны глубокой грусти, что никогда и никакой рассказ о том, как исполнял артист, — не воссоздаст его чарующие образы. Как никакой рассказ о солнце пламенного юга не поднимет температуру холодного дня.

VI.

Под солнцем пламенного юга, загнанный туда роковым недугом от любви подмосковных берез и тихих илестых прудов с карсями, жил больной писатель А. П. Чехов, которому как ни пытались рассказать и передать об исполнении в Московском Художественном Театре его пьесы «Дядя Ваня», не могли, конечно, воссоздать рассказами ни действительных образов, ни действительного впечатления от исполнения и постановки. Надо было видеть самому, чтоб оценить и почувствовать. И Художественный Театр избирает местом своих гастролей именно Крым и едет в Севастополь с намерением показать «Дядю Ваню» своему любимому писателю. Лично я не был свидетелем этого севастопольского спектакля, но слышал в Ялте от самого Антопа Павловича, что он был очень доволен и тронут, хотя из обычной авторской скромности и не выражал этого открыто.

После гастролей труппа поехала в Ялту на отдых, где с'ехалось и жили в это время немало писателей; помню, был Горький с семьей, Елпатьевский, Мамин-Сибиряк, Куприн, Найденов, Бунин...

Между прочим, вспоминается там же, в Ялте, старик Синани, карлик у которого на набережной был небольшой книжный магазин и вместе табачная торговля. Писатели и артисты ежедневно бывали у него, кто за папиросами, кто просто так, ради встречи с другими. Нередко можно было встретить и Чехова, сидящим на скамье, на улице, у дверей этого магазина. У Синани была большая толстая тетрадь в хорошем переплете — альбом, где все многочисленные его знакомые из артистического мира вписывали на память об Ялте по несколько строк. Книга эта очень интересна по множеству автографов известных людей. Было бы жаль, еслиб она затерялась по частным рукам. Помню, Мамин-Сибиряк написал в ней о Крыме недостаточно почтительно, и Синани с удивлением показывал всем эту страницу: — «Ехал в Ялту с радостью. Уезжаю из Ялты с удовольствием».

На другой же день по приезде труппы в Городском саду был устроен вареницкий обед, на котором участвовали артисты и писатели. Все перезнакомились, и это было началом сближения Театра с Горьким, у которого уже созрел план пьесы «На дне», но был еще не разработан, и он вчера передавал о нем Немировичу-Данченко и Станиславскому. Осенью пьеса была закончена и прочитана на «Среде», а затем поставлена в Художественном Театре.

Время наше не было легким; общественность давили; в ком можно — убивали мысль, в ком нельзя, тем зажимали рты. Но в воздухе парил уже Буревестник. Мало-помалу приближался 1905 год. Среда чутко реагировала на все выдающиеся явления общественной жизни. Отсюда нередко исходила инициатива всеобщего протеста по поводу особо возмутительных действий тогдашнего правительства.

«Надо заступиться за киевских студентов» — писал мне в 1901 году Горький из Нижнего-Новгорода: — «Надо сочинить петицию об отмене временных приговоров Хлопочите. Некоторые города уже начинают»... И составлялись протесты, покрывались сотнями подписей, писались петиции, читались резкие доклады. Инициативы подобных выступлений бывали у нас обычно Вересаев, Тимковский и Горький. «Средою» издан был даже особый товарищеский сборник под названием «Книга рассказов и стихотворений». Издан он был «на всякий случай». И заработавшие деньги целиком были отданы в 1905 году на вспыхнувшую почтовую графскую забастовку, проведенную героически и имевшую большое влияние на улучшение манифеста о Государственной Думе.

Кроме обычных и постоянных наших собраний, время от времени делались так называемые «Большие Среды», когда с'езжалось очень много народа. Мы не чуждались тогдашнего нового направления — декадентов, модернистов и иных, и у нас можно было встретить на таких собраниях приветливо принятых Брюсов

Бальмонта, Белого, Кречетова, Сологуба... На такие вечера приезжали и актеры, как В. И. Качалов и О. Л. Книппер; адвокаты — как Муравьев, Тесленко, Малиянович; бывали врачи, художники, журналисты, издатели, профессора. Однако все они были чьи-либо, из наших, личные знакомые, в которых мы не могли сомневаться. Случайных людей, хотя бы и очень интересных, не допускали, по причинам понятным. Строгий отбор гарантировал и нас и наших гостей от недреманного ока — от разеивавшегося в то время невероятного сыска. А недреманное око Средою интересовалось — это было известно. Эти «большие» или «выходные» Среды делались умышленно не у меня в квартире, а либо у Л. Андреева, либо у Голоушева. Все это заблаговременно обсуждалось Средою и никогда не носило случайного характера, а выполнялось в качестве постановления, для гостей наших может быть и неизвестного.

Многим, вероятно, памятли литературные «Сборники Знания», так нашумевшие в свое время и сыгравшие определенную роль в эпоху 1905 года. Эти сборники зародились все на той же Среде, и первые выпуски были составлены исключительно из произведений прочитанных авторами на Средах, за которыми приезжал лично Горький. Вот содержание первой книги: Л. Андреев — Жизнь Василия Фивейского. Ив. Бунин — Черноморем, и Стихи. В. Вересаев: Перед завесой. Н. Ггарин — Деревенская драма. М. Горький — Человек. С. Гусев — В приходе. А. Серафимович — В пути. Н. Телешов — Между двух берегов.

В книге было 325 страниц и стоила она один рубль. Авторам было заплачено по 400 рублей с листа, и, несмотря на высокий по тогдашнему времени гонорар, на первой странице книги было объявлено, что из прибыли с настоящего сборника отчисляется тысяча рублей в распоряжение Литературного Фонда; тысяча — Высшим Женским Курсам; тысяча — Женскому Медицинскому Институту; тысяча — Об-ву Учителей и Читальниц на общежитие для детей; тысяча — Об-ву Охранения Народного Здравия на постройку детского дома и 500 рублей на народную читальню в Кемь. Объявление этих пожертвований произвело тогда потрясающее впечатление и на публику и на сферы. Во второй книжке участвовали: Куприн, Скиталец, Чириков, Юшкевич и А. П. Чехов, давший пьесу «Вишневый сад». Таких сборников вышло в общем более 30.

Когда же через несколько лет издательство «Знание» прекратилось, Среда немедленно попыталась заполнить этот пробел и организовала в Москве «Книгоиздательство Писателей», с ярко выраженной защитой авторов от издательской зависимости. Над нашей затеей смеялись, потому что мы объявили: — «От издания книги — весь доход принадлежит автору, а не издателю». Это, может быть, было и ново и дерзко, но это было именно так, и не было смешно, потому что Среда доказывала это на деле в течение десятка лет. Частные издатели и всякие скупщики авторских рукописей — эти «любители российской словесности» — как называл их в шутку и с горя Мамин-Сибиряк — сначала подсмеивались над нами. Но потом перестали смеяться.

Личные отношения участников Среды были вполне дружеские, во всяком случае среди большинства, и очень сердечные и искренние; особенно между некоторыми из нас. Близость была не только писательская, профессиональная или товарищеская, но и чисто личная и семейная, что придавало еще большую интимность нашим взаимоотношениям.

Вот для примера, письмо ко мне Л. Андреева, через год после нашего первого знакомства. Надо сказать, что у Андреева была невеста, милая молодая девушка, курсистка, Александра Михайловна, с которой он появлялся всегда вместе на театральных новинках, в концертах, и это была заметная и красивая ларочка. И вот однажды я нашел у себя на столе письмо, в котором чувствовалась радостная забота счастливого человека:

«Милый друг. Будь моим отцом! Будь моим посаженным отцом. Свадьба моя 10-го, через три дня, в воскресенье. Посторонних — никого, один родствен-

ники — по-просту. Голоушев — шафер. Будь моим отцом! Я прошу тебя: будь моим отцом! Если таковым быть окончательно не можешь, то приезжай в качестве друга. Доставь мне радость, приезжай. И еще раз прошу тебя: будь моим отцом! Твой друг и сын Леонид Андреев. Будь моим отцом! Церковь: Никола Являющийся на Арбате. Будь моим отцом!».

И через шесть лет после этого писал он мне из Берлина: «На-днях пришло тебе «Жизнь Человека» — опыт в некотором роде нового строительства пьесы. Прошу тебя, сообщи, как отзовется Среда: ее советы и мнения всегда были мне важны, а в новом деле, в котором я сам иду ощупью, особенно».

И через 15 лет он пишет из своей Райволы: — «Поклон Старушке Среде!.. Ах, хорошо бы собраться летом небольшой дружеской компанией в 4-5 человек и ахнуть в Соловки, на Белое море, или — куда там!..».

И другие многие относились к Среде так же, или почти так же.

А вот и слова А. П. Чехова, сказанные им накануне отъезда за границу, откуда он уже не вернулся живым: — «Умирать еду. Поклонитесь от меня товарищам нашим по Среде. Хороший народ у нас подбрался. Скажите им, что я их помню и некоторых очень люблю. Пожелайте им от меня счастья. Больше уже не встретимся».

VII.

Начиная с 1909 г. характер Сред коренным образом изменился. Собираться стали уже не в частных квартирах, а в Литературно-Художественном Кружке, на Дмитровке, где отводилось Среде хорошее помещение. Во главе этих собраний стал Юлий Бунин. В первую же зиму число участников настолько выросло, благодаря молодым поэтам и молодым писателям, что большой запасной зал Кружка еле вмещал всех желающих. После чтений и прений устраивался обычно товарищеский ужин или чай, с тостами, стихами, остротами и любопытными стихотворными «протоколами», блестяще остроумными, которые сочинял тут же за ужином, не выходя из комнаты, экспромптом М. П. Гальперин и прочитывал всему собранию о его сегодняшнем поведении, перечисляя более выдававшиеся за вечер имена, слова и случаи — в несколько утрированном виде. Но эти веселые ужины и чаи вызвали, однако, опасение одного из старых участников и основателей Сред, который однажды сказал — тоже экспромптом — не то шутя, не то серьезно:

Говорят, грозит беда: не засла б нас среда,—

Нет, боюсь иной беды: не пропить бы нам Среды.

Количество новых участников неизмеримо росло; зато старые товарищи стали появляться на собраниях все реже и реже. По несколько раз в зиму они опять начали собираться или у меня, или изредка у Голоушева. Многих из прежних не стало: кто уехал за границу, кто в Петербург, или в провинцию, кое-кто перестал бывать. Но, с другой стороны, за это же время были и хорошие пополнения: сблизились с нами Ив. Ив. Понев и И. С. Шмелев, человек талантливый и яркий, и с ними быстро установились прочные товарищеские отношения.

В сущности, старой Среды больше уже не существовало. Жива была цоява, или молодая Среда, многочисленная, деятельная, всем интересующаяся, в которой старые основатели Сред бывали скорее как гости, и каждый ответственным был только за себя самого. Но в отдельности «старики» оставались друг с другом товарищами. Они теперь сплотились вокруг Книгоиздательства Писателей, вошли в совет и редакцию; почти все они были также в составе дирекции Литературно-Художественного Кружка, в правлении Об-ва Деятелей Периодической Печати и в Суде Чести, работали в правлении Кассы Взаимопомощи Литераторов и Ученых. Всегда было что-нибудь такое, что связывало их и держало в каком-то единении. И даже во время войны «Среде» было поручено составить сборник на помощь жертвам мировой войны. И Среда выделила из своего состава трех редакторов:

И. А. Бунина, В. В. Вересаева и Н. Д. Телешова, которые и составили этот сборник под названием «Клич», где участвовали лучшие современные писатели, крупные художники и знаменитые коммозиторы. Сборник был распродан в три дня и дал чистой прибыли, согласно опубликованному отчету, — тридцать четыре тысячи рублей, по старому, твердому курсу.

В течение четверти века не было, или почти не было, в Москве ни одного культурного начинания, ни одного общественного дела, где бы так или иначе не принимала горячего и ближайшего участия Среда, если не как коллектив, то в лице своих отдельных членов. К Среде неоднократно обращались общественные группы, когда возникали серьезные принципиальные конфликты и требовалось беспристрастное третейское решение. В таких случаях Среда указывала на одного из своих сотоварщиц и его избирали в судьи. Авторитет Среды стоял высоко.

Один молодой поэт, из группы модернистов, был заподозрен в провокации, и на его голову госыпались обвинения в предательстве и продаже своих друзей. Началось все это с корреспонденции из Парижа, напечатанной в одной московской газете; впутано было сюда имя известного «всезная» по этой части, Вл. Бурцева, который признавал, что за поэтом провокация на-лицо. Обвинение было настолько определено, а наемки настолько прозрачны, что имя заподозренного называлось уже прямо, хотя в корреспонденциях оно не фигурировало, и поэту многие перестали подавать руку, затем журналы прекратили прием и печатание его работ, затем ему было отказано в какой-то службе. С потерей доброго имени пропали и средства к жизни. Защищаться возможности не было, потому что нельзя было подать жалобу в государственный, так называемый «коронный» суд, благодаря политически-скользкой теме. Какое же правительство согласится, в самом деле, считать за преступление службу в своем политическом агитстве и работу в нем рассматривать как позор для сотрудника? И в каком положении оказались бы свидетели, как сами, так и все те люди и кружки, о которых пришлось бы показывать и выслушивать всю «подиоготную»?.. Для сыска и для широкого предательства такой процесс был бы величайшим торжеством и праздником.

Из создавшегося тупика выхода не было; травля продолжалась, пока не составилась «частный суд» при совершенно закрытых дверях для всех посторонних. В состав суда входило семь лиц — представителей адвокатуры, литературы и общественности; в их числе занимал место один из Среды. Председательствовал С. И. Филатов, в то время председатель Совета присяжных поверенных. Судьям извещался вопрос о добром имени человека и, в связи с этим, несомненно, о его жизни и смерти, — настолько серьезно разыгрался и мучительно протекал этот скандал.

Процесс тянулся несколько месяцев — с осени до весны. Из показаний множества свидетелей, преимущественно из литературного и журнального мира, выяснялись ужасающие картины сыска, гнета, подкупа, торговли головами людей. По ходу дела, стало неизбежным предложить ряд существенных вопросов как автору позорящих статей, так и В. Л. Бурцеву. Но оба они жили в Париже. Посылать вопросы и получать ответы через почту было равносильно открытию дверей и даже хуже, так как все письма, несомненно, были бы тайно читаны жандармерией. И суд был вынужден послать ирочного — нерюго человека — с необходимыми письменными вопросами в Париж, добиться там личного свидания и привезти суду письменные же ответы. Это сложное поручение и затормозило течение процесса.

Обязанности судей были морально тяжелы и крайне ответственны: нельзя обелять виновного в гнусных предательствах, но нельзя и винить в таком деле по предположению, без доказательства. Были приняты все меры к выявлению истины. И после долгих, узорных и мучительных трудов Суд пришел к заключению, что обвинение не подтвердилось решительно ничем. Доброе имя, а с ним, вероятно,

и жизнь писателя были спасены. Но участвовать в этом суде и решать эти вопросы было сущей пыткой.

Члены Среды имели возможность влиять на самые разнообразные стороны жизни: через Литературно-Художественный Кружок они помогали писателям, артистам, художникам и просто людям интеллигентного труда, впадшим в беду или крайность; через Общество Периодической Печати, с его Судом Чести, защищали права и достоинство отдельных деятелей; через Кассу Взаимопомощи Литераторов и Ученых собирались ими по трудовым грошам товарищеские средства, и члены Кассы за четверть века работы в последние годы стали иметь возможность бесплатно учить своих детей, доживать более или менее сносно свой век на пенсии и даже лечиться и жить в Ессентуках, где было оборудовано помещение для приезжающих писателей, а в случае смерти, осиротевшая семья получала немедленно и без всяких хлопот поразрядную сумму денег.

Последнее собрание Среды состоялось в 1916 году, на котором приехавший из Петрограда Андреев знакомил нас с своей новой — последней пьесой — трагедией «Сампсон», которую в присутствии автора прочитал Голоушев.

Вспоминая теперь о Среде, о ее минувшем времени, невольно хочется сказать словами Пушкинского Пимена:

Давно ль оно неслось, событий полно,
Волнуясь, как море-океан.
Теперь оно безмолвно и спокойно...